

**КНИГА ПРОТИВ БУНТА  
[КАНТОР В. К. ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.  
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ЭССЕ. — М.; СПБ.:  
ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВ, 2019. 400 С.  
(СЕРИЯ «РОССИЙСКИЕ ПРОПИЛЕИ»)]**

*Вера Владимировна Калмыкова*

Кандидат филологических наук, член Союза писателей г. Москвы,  
шеф-редактор журнала «Философические письма: Русско-европейский диалог».

E-mail: vkalmykova67@mail.ru

DOI 10.17323/2658-5413-2019-2-3-169-176

**Н**овая книга Владимира Карловича Кантора состоит в основном из статей, ранее опубликованных в журналах, и докладов, прочитанных на конференциях. Герои ее — Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев, М. Н. Катков, Ф. М. Достоевский, А. Н. Герцен, А. Ф. Керенский. Русские революционные демократы второй половины XIX в. И — отчасти — деятели культуры Серебряного века.

Даже на поверхностный взгляд понятно, что каждая из этих фигур окружена пышной мифологией, выдержанной десятилетиями, будто дорогое вино. Чернышевский — символ революционной демократии. Тургенев — апологет дворянской культуры. Катков — реакционер, пособник царизма. Достоевский — мистик, специалист по неисследимым глубинам души человеческой. Герцен — ну, тут понятно, разбуженная декабристами совесть России. И так далее.

Задача книги, сформулированная автором еще до начала текста, на первом шмуцтитуле, такова: «Миф печальные строки смывает, в мифе все складно и ладно, но Пушкин, певец разума, понимал, что строк этих смывать нельзя, если хочешь жить в реальности. Необходима демифологизация, прежде всего собственной жизни». Что же противостоит тенденции к мифологизации? Возвращение явлениям их собственных, а не нами навязанных имен. «Иными словами, продолжить цивилизацию России — дать <...> именование окружающему миру и тем культивировать его. Ибо имя — первый шаг к самопознанию и самосознанию».

Итак, автор принимается за дело.

И сразу начинается удивительное.

Потому что первый из развенчиваемых Кантором мифов в книге обозначен пунктирно, не акцентирован, но мерцает между строк. Это пресловутый

«особый путь России», которую якобы «умом не понять». С точки зрения Кантора, понять-то как раз умом: Россия о-смысливается, то есть обретает историческое бытие, *только* как европейская страна, идущая цивилизованными путями, управляемая законом (потому что *только* закон может обеспечить стройность и порядок), причем законом сугубо христианским (поскольку *только* христианство дает представление о свободе каждой отдельной личности). Никакие языческие «правды» ничего подобного не предусматривают, постулируя, напротив, лишь *право сильного*. Иначе — бескомпромиссный и совершенно неромантичный хаос. Христианской цивилизации нужен символ, и это Рим, вековая греза российских мыслителей. «Рим — это первая попытка собрать человечество не только на основе насилия. Империя — это некая мутация восточной деспотии, которая, оставляя базовую основу власти одного, привносит некое добавление — закон, защищающий в лучшие годы империи права и собственность граждан».

Символ же, как известно, не есть миф, поскольку символ, как убедительно показал в свое время А. Ф. Лосев, не требует буквальной веры во все без разбору составляющие дискурса. Рим-символ позволяет отбросить в сторону все негативное, что связано с историческим бытованием католической церкви, как и Петр-символ (имеется в виду первый российский император) не подразумевает восхищения кровавыми сторонами его деятельности, испугавшими в свое время даже Пушкина. Двигаясь в русле исторического символизма, можно, не забывая о *цене человеческой крови*, пролитой во имя реформ, держать в уме высокий смысл исторического существования, если угодно, космический, бытийственный, имя которому — ценность каждой человеческой жизни.

Напротив, подчиняясь логике мифа, можно пролить любое количество чужой крови, не очень озабочиваясь вопросами благополучия личности.

Так мы возвращаемся к основной идее Владимира Кантора: к демифологизации русской культуры посредством развития личности и понимания законов, по которым происходит ее становление, и обеспечивающих его факторов. «Моя задача, — пишет автор, — показать, как мнение толпы обретало господство в обществе и как истина, которой владеет личность, противостоит общепринятому безумию, выявляя реальные причины катастрофы». И здесь становится явной парадоксальность содержания книги: оперируя по необходимости громадными социальными и историческими пластами, Кантор нечувствительно сводит все к проблематике личности — ее свободы, ее независимости, ее, если угодно, «устройству головы» (см. ниже).

Свобода есть категория абсолютная: ты не можешь быть свобод-нее меня. Здесь нет сравнительных или превосходных степеней: каждый из нас или

свободен в полной мере, или несвободен совершенно. Свободой нельзя владеть. Ее нельзя получить. В ней, как в мире, можно только *пребывать*. Но да, ее можно *утратить*, как любой великий дар. Поэтому-то в увесистом томе, наполненном историческими фактами, выдержками, отсылками к глобальным событиям, на самом деле ведется речь только о человеке, о его прошлом, настоящем и будущем. «Лик Божий может быть отражен только в человеке-личности, ибо сотворен он по Его образу и подобию, но не в безличной толпе, массе, не в стихии».

Неслучайно книга начинается с большого разговора о Николае Гавриловиче Чернышевском. О том самом Чернышевском, которого мы привыкли считать вождем революционных демократов, идеологом русского бунта, да, беспощадного, но — с точки зрения советской историографии — осмысленного, необходимого, правильного, справедливого, единственно возможного. И который (Чернышевский, а не бунт) — надо же! — никогда не был тем, чем обязан был стать в логике советского мифа.

Лучше пусть это будут цитаты... «Фантастично давление на наше восприятие Чернышевского ленинского понимания, а затем советских ученых, которые тоже писали о нем как о великом человеке, но при этом умудрялись лишить всякой духовности, превратить в атеиста великого страдальца и глубоко верующего человека, лежавшего на смертном одре с Библией в руках». «Скажем, везде пишут, что отставной офицер и поэт-переводчик Всеволод Костомаров донес на Чернышевского, после чего его посадили. Самое интересное, что доносить было нечего и не о чем. Ни одного противоправительственного деяния ни в поступках, ни в бумагах самым тщательным сыщикам найти не удалось». «[Костомаров] написал почти роман в духе Эжена Сю, в котором Чернышевский выступал как подпольщик, руководитель боевых групп, у которого тайные склады с преступной литературой и оружием, верные воины, которые поднимутся по первому его сигналу и т.д. Даже следователи сказали, что чересчур и невероятно, но к делу приобщили». «И все же остается под вопросом причина не только ареста, а дальнейшего безумно жестокого, я бы даже сказал злого наказания. Как писали русские эмигранты, даже декабристы не подверглись столь суровой каре (те, которых не повесили), а ведь они вышли с оружием свергать царя. Но их поведение было в традиции дворцовых переворотов и было понятно. Поведение Чернышевского было вопреки всем нормам. Поразительное дело, но более всего любой автократический режим не приемлет независимость духа и мысли». «<...> еще раз обозначу позицию Чернышевского по отношению к власти. Студенческие сходки он посещал. Но старался внушить студентам правила осторожности, не из трусости, а показывая бессмысленность лезть на рожон,

когда тебе есть что сказать». «Самое поразительное, что Чернышевского судили и обвиняли в революционности, как вождя грядущего бунта, *а он всеми силами пытался противостоять бунту* (здесь и далее в цитатах выделено автором. — В. К.)». «Единственное, что он проповедовал, — это независимость мысли. Говоря словами Канта, утверждал выход из умственного несовершеннолетия». «Когда он был уже несколько лет в “долине смерти” в Виллюйске, к нему по приказу свыше приехал генерал с предложением подать помилование. Чернышевский отказался. Ответ каторжанина поразителен: “В чем я должен просить помилования? В том, что у меня голова устроена иначе, чем у шефа жандармов? За это помилования не просят”».

Религиозный мыслитель Чернышевский. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. В смысле, демифологизация.

Попутно еще, кстати, один миф: о гуманизме царского правительства. И еще один факт — преемственности большевистской власти от монархической. Увы.

И да, соответствующее место в советском учебнике истории писано на основе *доноса*. Это если кому интересно.

Еще одно: христианская мысль Чернышевского вошла, как пишет Кантор, в состав его преступления. Роман «Что делать?» — не революционное, а самое что ни на есть христианское произведение. «Для верующего человека мир устроен так, что внутри него можно правильно строить правильные отношения. На вопрос атеиста Герцена, *кто виноват*, ответ один — виновато мировое устройство или, если угодно, Бог. Значит, разумно положительное действие здесь невозможно. Но на вопрос Чернышевского, *что делать*, есть ответ: в Божьем мире можно строить правильные отношения».

Не удержусь: «Любопытно, что герои Чернышевского никогда не перелагают на других ответственность за свои поступки. Ибо главное условие христианского жизнеповедения — ответственность за самого себя».

Однако хватит об этом.

Не менее парадоксальным, чем с Чернышевским, выглядит случай Михаила Никифоровича Каткова. В соответствующем мифе — сторонника и защитника самодержавия, верноподданного его раба. «Мой ответный тезис, — пишет Кантор, — прост: Катков ни разу не изменил тем взглядам, с которыми он впервые вступил в общественно-литературную жизнь. Он был, если позволительно так сказать, имперский европеец, как и Пушкин, последователь Петра Великого. И образован как мало кто тогда. Чтение его и перевод лекций Гегеля по эстетике формировало взгляды Белинского, потом пару лет он слушал лекции позднего Шеллинга, германской мыслью в высших ее проявлениях он был напитан как следует. Кстати, в то же время лекции Шеллин-

га слушали молодой Фридрих Энгельс и Серен Кьеркегор. <...> Империя для Каткова есть носитель свободы». «<...> Катков хотел видеть Россию идущей по европейскому пути, но при этом сохранявшей свою самостоятельность и независимость».

И никто иной в такой степени, как Катков, не радел за отечественную словесность, не стремился доставить ее непосредственно к читателю на журнальных крыльях. Именно он оказался *собирателем* литературы русской, как Третьяков — русской живописи или Медичи — итальянской. Хотите ругать Каткова? Вуаля. Но при этом помните, что он напечатал. Может, Толстому или Тургеневу деньги были не нужны, а, скажем, Достоевский на них жил. «<...> с 1856 г. он вместе с П. М. Леонтьевым начал издавать литературно-художественный и общественно-политический журнал “Русский Вестник”. За 30 лет на его страницах увидели свет практически все классические произведения русской литературы: “Казачи”, “Война и мир”, “Анна Каренина” Л. Н. Толстого, “Преступление и наказание”, “Идиот”, “Бесы”, “Братья Карамазовы” Ф. М. Достоевского (в 1880 году на страницах “Московских Ведомостей” была опубликована “Пушкинская речь” Ф. М. Достоевского), “Накануне”, “Отцы и дети”, “Дым” И. С. Тургенева, “Губернские очерки” М. Е. Салтыкова-Щедрина, “Семейная хроника” С. Т. Аксакова, “На ножах”, “Соборяне”, “Запечатленный ангел”, “Захудалый род” Н. С. Лескова, “Взбаламученное море” А. Ф. Писемского, “Князь Серебряный” А. К. Толстого, “В лесах” и “На горах” П. И. Мельникова-Печерского, начиная с первого номера в журнале печатались исторические исследования Б. Н. Чичерина, которого Катков ввел тем самым в круг литературной элиты, стихотворения и поэмы А. Н. Майкова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, А. Н. Плещеева, В. С. Курочкина. Если вспомнить о Вл. Соловьеве, то и ему Катков оказался в помощь. В 1880 году Розанов написал о Соловьеве: “Он был так талантлив, что сразу все вставали навстречу ему... Катков, Ив. С. Аксаков, славянофилы и западники, — все перед ним именно «вставали», когда он среди них появлялся. Достаточно сказать, что Катков напечатал в своем «Русск. Вестнике», где тогда печатались романы Достоевского и Толстого, его *докторскую диссертацию* — «Критику отвлеченных начал»: вещь, совершенно самоубийственная для журнала!!”. Из переводов стали заметным явлением роман американки Г. Бичер-Стоу “Хижина дяди Тома”, такой важный в момент отмены крепостного права в России, стихи Беранже, Гейне. Настоящую сенсацию производили разоблачительные статьи бывшего жандармского офицера С. С. Громеки о полиции, ее взятках и вымогательствах».

Антагонист Каткова — Михаил Александрович Бакунин, выдвинувший лозунг: «Страсть к разрушению — творческая страсть». Слова, вошедшие в советский революционный миф. Но при этом лишены смысла.

Еще один катковский антигерой — Александр Иванович Герцен, писатель-эмигрант, инакомысленник, изгнанный за свои литературные произведения... Хотя стоп. «**Никто его не изгонял.** Продав свои имения и несколько тысяч принадлежавших ему крепостных рабов (русских, заметим) за несколько миллионов, он уехал за границу. Барон Ротшильд, немалую роль сыгравший в Крымской войне, защитил деньги Герцена, полученные им за продажу единоплеменников, от императора. Как писал сам беглец из России, деньги — необходимое оружие в борьбе, лишаться их нельзя. Перо Герцена сыграло не последнюю роль в попытке сломить Россию. И в Крымскую войну, а особенно в эпоху Польского восстания против Российской империи начала 1860-х.

Главным интеллектуальным борцом с эмигрантом Герценом оказался издатель “Русского вестника” Михаил Катков».

А вот, например, А. С. Пушкин — постоянный герой Кантора, появляющийся практически в любом его сочинении, на какую тему оно ни написано. Сразу развенчивается миф об Арине Родионовне: на ее место в русле демифологизации встает родная бабушка поэта, Мария Алексеевна Ганнибал. Да и сам Пушкин, неистовый африканец, беззаконная комета, представляется автору гением... здравого смысла: «Должно было “русскому европейцу” пропустить сквозь свою душу простонародную Россию — и не сломаться, *остаться самим собой.* Только “духовный богатырь” был способен совершить подобный подвиг. Что ж, Пушкин таким богатырем и оказался. А для этого прежде всего необходим был реализм в подходе к жизни, не критический и не социалистический, а христианский, гуманистический. То есть умение видеть то, что есть, понимать сложность мира, не идеализировать, не строить прожектов, не говорить, как должно быть, а исходя из насущного и наличного найти возможность реального преобразования действительности — в деянии реального человека Петра, а также найти и меру частной жизни: “На свете счастья нет, но есть покой и воля...”. Рая на земле никому не обещано. Вот устойчивая позиция Пушкина. Но есть выработанные цивилизованным человечеством ценности, которые надлежит отстаивать — честь, достоинство, независимость, право на свободный труд, свою “обитель трудов и чистых нег”, творческую свободу, короче, строй и лад. Этот строй и лад и хотел дать России Петр и Пушкин».

*Разговор на равных с Европой и способность остаться самим собой* — две сквозные мысли Кантора, любимые, надо сказать. Европа для него — такой же символ, как и Рим, понятие не столько географическое и уж тем более не геополитическое, но философское: «Карамзин, не употребляя <...> высокой формулы, показал Россию как часть европейского материка, способную к

самопознанию, а стало быть, и к тому, чтобы выразить европейскую ментальность».

Книга о литературе у Владимира Кантора, автора бестселлера «Русская классика, или Бытие России» (М., 2005), с неизбежностью превращается в книгу о взаимодействии писателя и власти. О последней в данном случае говорится нечто весьма злободневное: «выход государства из системы авторитаризма даже к ограниченной свободе вызывает почти параноические действия власти, которая не знает, как управлять обществом в новой структуре. Более всего она боится тех, кто вдруг сумел думать самостоятельно, а не по прописям».

Если вспомнить исторически сложившуюся дихотомию, то Владимир Кантор, конечно, *западник*. Но такой, каким до поры до времени был Иван Сергеевич Тургенев. Те, кто говорит об «особом пути» России, пребывают во власти мифа, допускающего, что без самопознания и самоосмысления можно быть свободным (первобытные племена в расчет не берутся). «Особый путь» исключает взаимодействие: с кем иметь дело, если ты единствен в своем роде? Напротив, **именно <...> способностью к усвоению чужих смыслов русский народ относится к европейской культуре, выросшей на усвоении греко-римского наследия.** *Но для художника этот культурный билингвизм, состояние, я бы сказал, находимости-вненаходимости в своей культуре, то есть способность чувствовать себя представителем своей культуры и одновременно способность взглянуть на нее со стороны, с высшей или по крайней мере равной точки зрения, и создает художественное, бинокулярное зрение, позволяющее увидеть и понять свое родное».*

Однако до тех пор, пока для этого художника кровь и вода остаются разными жидкостями. Их также следует различать по именам: «Помогавший деньгами народовольцам, назвавший девушку-бомбистку, которая говорит, что она готова на преступление, *святой* (рассказ “Порог”), Тургенев потихоньку перестал понимать Россию». И необходимо наконец сказать — это особенно важно в наши дни, — что революция не имеет творческого потенциала. Она есть безумие. И исторически, и вообще. «Французская революция была поначалу для русских радикалов примером прорыва к свободе. Но это были мечты. Реальность была иной. Победила не свобода, а толпа, ненавидевшая разум и независимость ума. Быть может, первым великий Пушкин увидел во французском порыве явление абсолютного безумия».

В наши дни психологи, изучающие активность масс, методами лингвистического анализа пришли к тому же выводу: любая агрессивная протестная активность есть проявление по меньшей мере психоза, по большей — ши-

зофрении. Это не знаменитый «адреналин», который надо «сбросить». Это, к сожалению, психопатология. Которую нельзя вылечить.

Но можно воспитать в самом себе понимание: есть только одна альтернатива — хаос и порядок. Бунт и развитие. Кровь и жизнь. Другой, как модно говорить нынче, альтернативы нет. И вряд ли кто-нибудь из нас в нормальном состоянии согласится быть растерзанным толпой, или получить ранение, или быть убитым. Обычно мы все-таки, как правило, хотим жить...

На этой высокой ноте рецензенту захотелось остановиться. «Как? Но что же, — спросит внимательный читатель, — до Керенского? Серебряного века? Достоевского? Разве их мифы не развенчаны автором?» Уверяю вас — все есть. Но об этом лучше читать в самой книге, а не в рецензии, которая и так затянулась. Остается добавить лишь, что в книгу включены нашумевший рассказ Владимира Кантора «Смерть пенсионера», эссе Константина Баршта «О событии смерти (Рассказ Владимира Кантора в контексте русской литературы)» и обширный библиографический материал.

Можно ли сказать хоть что-нибудь хорошее о тех, чьи мифы развенчаны на страницах книги Владимира Кантора? А как же! Ленин, например, написал замечательные слова: «очень своевременная книга». Правда, по другому поводу и о другом авторе... но об этом в «Демифологизации...» тоже есть. Так что — *за мной, читатель! Очень своевременная книга!*